

*О пользе  
и вреде истории  
для жизни*

## Предисловие

«Мне, впрочем, ненавистно все то, что лишь поучает меня, не способствуя моей деятельности или не вдохновляя меня самым непосредственным образом»<sup>1</sup>. Эти слова Гёте, это его прямодушное *ceterum censeo*<sup>2</sup> могли бы служить вступлением к нашему рассуждению о положительной или отрицательной ценности истории. Ибо в приведенных здесь размышлениях мы намерены показать, почему поучение без оживления, почему знание, сопряженное с ослаблением деятельности, почему история как драгоценный избыток знания и роскошь нам должны быть, по выражению Гёте, всерьез ненавистны, — а именно потому, что мы нуждаемся еще в самом необходимом, и потому, что все излишнее есть враг необходимого. Конечно, нам нужна история, но мы нуждаемся в ней иначе, чем избалованный и праздный любитель в саду знания, с каким бы высокомерным пренебрежением последний ни смотрел на наши грубые и неизящные потребности и нужды. Это значит, что она нужна нам для жизни и деятельности, а не для удобного

---

<sup>1</sup> Из письма Гёте Шиллеру от 19 декабря 1798 г. // Гёте И.-В., Шиллер Ф. Переписка. М., 1988. Т. 2. С. 176. — *Здесь и далее примеч. ред.*

<sup>2</sup> Притом я думаю (*лат.*).

уклонения от жизни и деятельности или тем менее для оправдания себялюбивой жизни и трусливой и дурной деятельности. Лишь поскольку история служит жизни, постольку мы сами согласны ей служить; а между тем существует такой способ служения истории и такая оценка ее, которые ведут к захирению и вырождению жизни, — явление, исследовать которое в связи с озадачивающими симптомами нашего времени теперь настолько же необходимо, насколько, может быть, и тягостно.

Я стремился описать ощущение, которое достаточно часто мучило меня; моей мезтью ему пусть будет то, что я его теперь предаю гласности. Может быть, это описание побудит кого-нибудь заявить мне, что и он тоже испытал это ощущение, но что мне оно известно не в его чистом, первоначальном виде и что я выразил его далеко не с подобающей уверенностью и зрелостью понимания. Таково, может быть, мнение некоторых; большинство же скажет мне, что это — совершенно извращенное, неестественное, отвратительное и просто непозволительное ощущение или даже что я показал себя в нем недостойным того могущественного тяготения нашего времени к истории, которое, как известно, ясно обнаружилось за последние два поколения, в особенности среди немцев. Но во всяком случае, тем, что я беру на себя смелость дать точное описание природы моих ощущений, я скорее способствую охране господствующих приличий, чем подрываю их, ибо я таким образом доставляю возможность многим рассыпаться в комплиментах перед вышеупомянутой тенденцией эпохи. Я же приобретаю для себя еще нечто, что мне гораздо дороже, чем общественное благоприличие, а именно — возможность получить публичное поучение и строгое наставление касательно нашей эпохи.

Эти размышления тоже несвоевременны, ибо в них я делаю попытку объяснить нечто, чем наше время не без основания гордится, а именно — его историческое образование, как зло, недуг и недостаток, свойственные времени, ибо я думаю даже, что мы все страдаем изнурительной исторической лихорадкой и должны были бы, по крайней мере, сознаться в том, что страдаем ею. Если же Гёте был прав, когда утверждал, что, культивируя наши добродетели, мы культивируем также и наши пороки, и если, как это известно всем, гипертрофированная добродетель, каковой представляется мне историческое чувство нашей эпохи, может сделаться столь же губительной для народа, как и гипертрофированный порок, — то почему бы не дать мне возможности сказать то, что я думаю? К моему оправданию, не умолчу также и о том, что наблюдения, вызвавшие во мне вышеупомянутое мучительное ощущение, сделаны мною в значительной части над самим собою и только в целях сравнения — над другими и что я, оставаясь сыном своего времени, пришел к столь несвоевременным выводам лишь в той мере, в какой я вместе с тем являюсь питомцем прежних эпох, особенно греческой. Некоторое право на это дает мне, как мне думается, также и моя специальность классического филолога: ибо я не знаю, какой еще смысл могла бы иметь классическая филология в наше время, как не тот, чтобы действовать несвоеременно, то есть вразрез с нашим временем, и благодаря этому влиять на него — нужно надеяться, в интересах грядущей эпохи.

Погляди на стадо, которое пасется около тебя: оно не знает, что такое вчера, что такое сегодня, оно скачет, жует траву, отдыхает, переваривает пищу, снова скачет, и так с утра до ночи и изо дня в день, тесно привязанное в своей радости и в своем страдании к столбу мгновения и потому не зная ни меланхолии, ни пресыщения. Зрелище это для человека очень тягостно, так как он гордится перед животным тем, что он человек, и в то же время ревнивым оком смотрит на его счастье, ибо он, подобно животному, желает только одного — жить, не зная ни пресыщения, ни боли, — но стремится к этому безуспешно, ибо желает он этого не так, как животное. Человек может, пожалуй, спросить животное: «Почему ты мне ничего не говоришь о твоём счастье, а только смотришь на меня?» Животное не прочь ответить и сказать: «Это происходит потому, что я сейчас же забываю то, что хочу сказать», — но тут же оно забывает и этот ответ и молчит, что немало удивляет человека.

Но человек удивляется также и самому себе, тому, что он не может научиться забвению и что он навсегда прикован к прошлому, как бы далеко и как бы быстро он ни бежал, цепь бежит вместе с ним. Не чудо ли, что мгновение, которое столь же быстролетно по-

является, как и исчезает, которое возникает из ничего и превращается в ничто, — что это мгновение тем не менее возвращается снова, как призрак, и нарушает покой другого позднейшего мгновения. Непрерывно от свитка времени отделяются отдельные листы, выпадают и улетают прочь, чтобы внезапно снова упасть в самого человека. Тогда человек говорит: «Я вспоминаю» — и завидует животному, которое сейчас же забывает и для которого каждое мгновение действительно умирает, погружаясь в туман и ночь и угасая навсегда. Столь *неисторически* живет животное: оно растворяется в настоящем, как целое число, не оставляя по себе никаких странных дробей, оно не умеет притворяться, ничего не скрывает и в каждый данный момент является вполне тем, что оно есть, и потому не может не быть честным. Человек же, напротив, должен всячески упираться против громадной, все увеличивающейся тяжести прошлого; последняя или пригибает его вниз, или отклоняет его в сторону, она затрудняет его движение, как невидимая и темная ноша, от которой он для виду готов иногда отречься, как это он слишком охотно и делает в обществе равных себе, чтобы возбудить в них зависть. Поэтому-то его волнует, как воспоминание об утраченном рае, зрелище пасущегося стада или более знакомое зрелище ребенка, которому еще нет надобности отречься от какого-либо прошлого и который в блаженном неведении играет между гранями прошедшего и будущего. И все же играм ребенка также наступает конец: слишком рано отнимается у него способность забвения. Тогда научается он понимать значение слова «было», того рокового слова, которое, знаменуя для человека борьбу, страдание и пресыщение, напоминает ему, что его существование, в корне, есть нико-

гда не завершающееся Imperfectum. Когда же смерть приносит наконец желанное забвение, то она похищает одновременно и настоящее вместе с жизнью человека и этим прикладывает свою печать к той истине, что наше существование есть непрерывный уход в прошлое, то есть вещь, которая живет постоянным самоотрицанием, самопожиранием и самопротиворечием.

Если счастье, если погоня за новым счастьем в каком бы то ни было смысле есть то, что привязывает живущего к жизни и побуждает его жить дальше, то может быть циник ближе к истине, чем всякий другой философ, ибо счастье животного, как самого совершенного циника, служит живым доказательством истинности цинизма. Самое крошечное счастье, если только оно непрерывно и делает человека счастливым, конечно, есть несравненно большее счастье, чем величайшее счастье, которое появляется только как эпизод или, так сказать, как мимолетное настроение, как безумный каприз среди постоянных страданий, страстей и лишений. Но как для самого маленького, так и для самого большого счастья существует только одно, что делает счастье счастьем, — способность забвения, или, выражаясь более научно, способность в течение того времени, пока длится это счастье, чувствовать неисторически. Кто не может замереть на пороге мгновения, забыв все прошлое, кто не может без головокружения и страха стоять на одной точке, подобно богине победы, тот никогда не будет знать, что такое счастье, или, еще хуже, он никогда не сумеет совершить того, что делает счастливыми других. Представьте себе как крайний пример человека, который был бы совершенно лишен способности забывать, который был бы осужден видеть повсюду только становление: такой человек потерял бы веру в свое собст-

венное бытие, в себя самого, для такого человека все расплылось бы в ряд движущихся точек, и он затерялся бы в этом потоке становления, — подобно верному ученику Гераклита, он в конце концов не нашел бы в себе мужества пошевелить пальцем. Всякая деятельность нуждается в забвении, подобно тому как всякая органическая жизнь нуждается не только в свете, но и в темноте. Человек, который пожелал бы переживать все только исторически, был бы похож на того, кто вынужден воздерживаться от сна, или же на животное, осужденное жить только все новым и новым пережевыванием одной и той же жвачки. Таким образом, жить почти без воспоминаний, и даже счастливо жить без них, вполне возможно, как показывает пример животного; но совершенно и безусловно немислимо жить без возможности забвения вообще. Или чтобы еще проще выразить мою мысль: *существует такая степень бессонницы, постоянного пережевывания жвачки, такая степень развития исторического чувства, которая влечет за собой громадный ущерб для всего живого и в конце концов приводит его к гибели, будь то отдельный человек, или народ, или культура.*

Чтобы найти эту степень и при помощи ее определить границу, за пределами которой прошедшее подлечит забвению, если мы не желаем, чтобы оно стало могильщиком настоящего, необходимо знать в точности, как велика *пластическая сила* человека, народа или культуры; я разумею силу самобытно расти из себя самого, претворять и поглощать прошедшее и чужое и излечивать раны, возмещать утраченное и восстанавливать из себя самого разбитые формы. Существуют люди, которые обладают этой силой в столь незначительной степени, что они, как от крошечного пореза, неисцелимо истекают кровью от одного-единственного переживания, одного-единственного стра-



дания, часто даже от одной какой-нибудь легкой несправедливости; с другой же стороны, есть и такие, которых самые дикие и самые ужасные невзгоды или даже их собственные злые деяния трогают столь мало, что они даже среди всего этого или вскоре после этого достигают сносного самочувствия и некоторого спокойствия совести. Чем глубже у человека заложены корни его внутренней природы, тем большую часть прошлого способен он усвоить себе или переработать по-своему; и если бы мы пожелали представить себе наиболее могучую и наиболее необузданную натуру, то мы могли бы узнать ее по тому, что для нее историческое чувство не имело бы никакой границы, за которой оно могло бы оказывать вредное или разрушительное влияние; все прошедшее, будь оно глубоко свойственным или совершенно чуждым, такая натура впитывала бы в себя и словно бы претворяла в свою кровь. А то, чего не могла бы подчинить себе, она сумела бы забыть; оно бы не существовало для нее, горизонт ее был бы замкнут и закончен, и ничто не могло бы напомнить ей, что по ту сторону этого горизонта существуют люди, страсти, учения, цели. И это всеобщий закон: все живое может стать здоровым, сильным и плодотворным только внутри известного горизонта; если же оно не способно ограничить себя известным горизонтом и в то же время слишком эгоцентрично, чтобы заключить свой взгляд в пределы чужого, то оно истощается, увядая, или порывисто идет к преждевременной гибели. Веселость, спокойная совесть, радостная деятельность, доверие к грядущему — все это зависит как у отдельного человека, так и у народа от того, существует ли для него линия, которая отделяет доступное зрению и светлое от непроницаемого для света и темного, зависит от того,

умеет ли он одинаково хорошо вовремя забывать, как и вовремя вспоминать, от способности здорового инстинкта определять, когда нужно ощущать исторически и когда — неисторически. Отсюда положение, к рассмотрению которого я приглашаю читателя: *историческое и неисторическое одинаково необходимы для здоровья отдельного человека, народа и культуры.*

Относительно сказанного каждый очевидным образом может сделать следующее наблюдение: исторические знание и чувство человека могут быть весьма ограниченны, его горизонт может быть так же сужен, как горизонт обитателя альпийской долины, в каждое суждение он может вкладывать какую-нибудь несправедливость, в каждый опыт — ложное убеждение, что он первый его сделал, — и, несмотря на всю свою несправедливость и все свои ошибки, он будет стоять перед нами в своем неискоренимом здоровье, полон сил, и радовать все взоры, в то время как рядом с ним несравненно более справедливый и образованный человек болеет и падает вследствие того, что линии его горизонта постоянно беспокойно передвигаются и что он поэтому никак не может выпутаться из несравненно более тонкой сети своей справедливости и истины, чтобы снова вернуться к непосредственным желаниям и влечениям. С другой стороны, мы видели животное, которое, будучи совершенно лишено исторического чувства и заключено внутри горизонта, сводящегося чуть ли не к одной точке, наслаждается тем не менее неким счастьем или, по крайней мере, живет, не зная пресыщения и притворства; поэтому мы должны считать способность чувствовать в известной степени неисторически более важной и более первоначальной, поскольку она является фундаментом, на котором только вообще и может быть построено нечто

правильное, здоровое и великое, нечто подлинно человеческое. Неисторическое подобно окутывающей атмосфере, в которой только и возникает жизнь, с тем чтобы вновь исчезнуть с уничтожением этой атмосферы. И вправду, только благодаря тому, что человек может при помощи мысли, обдумывания, сравнения, отделения и соединения ввести в границы этот неисторический элемент, только благодаря тому, что это обволакивающее, ограничивающее туманное облако прорезывается ярким, молниеносным лучом света, — то есть только благодаря способности использовать прошедшее для жизни и вновь превращать произошедшее в историю, человек делается человеком; но в избытке истории человек снова перестает быть человеком, а без упомянутой оболочки неисторического он никогда бы не начал и не отважился ничего начать. Где мы найдем те деяния, которые человек мог бы совершить, не войдя сперва в туман неисторического? Или, оставляя в стороне образы и прибегая для иллюстрации этой мысли к примеру, представим себе человека, которого бросает во все стороны и влечет какая-нибудь сильная страсть к женщине или к великой идее: как изменяется для него его мир! Оглядываясь назад, он чувствует себя слепым; когда прислушивается к чему-нибудь со стороны, все чужое кажется ему глухим шумом, лишенным всякого значения; все же, что он вообще способен теперь воспринимать, никогда он еще не воспринимал столь ощутимо близким, столь красочным, звучащим, освещенным, как бы действующим на все его чувства одновременно. Все его оценки подверглись изменению или потеряли прежнее значение; многого он совсем не может более ценить, ибо почти вовсе не ощущает его: он спрашивает себя, неужели он так долго был рабом чужих слов, чу-

жих мнений; он удивляется тому, что его память не-утомимо вращается все в том же круге и в то же время слишком слаба и утомлена, чтобы хоть раз решиться сделать скачок за пределы этого круга. Это самое несправедливое на свете состояние, ограниченное, неблагодарное к прошлому, слепое к опасностям, глухое к предупреждениям, маленький живой водоворот в мертвом море ночи и забвения; и все-таки это состояние — будучи глубоко неисторическим и антиисторическим — является лоном, порождающим не только несправедливое, но скорее всякое действительное деяние, и ни один художник никогда не напишет своей картины, ни один полководец не одержит победы, ни один народ не завоюет свободы, если все они в подобном неисторическом состоянии предварительно не жаждали этой цели и не стремились к ней. Как всякий деятель, по выражению Гёте, всегда бессовестен, так же он и чужд знанию, он забывает все остальное, чтобы достигнуть одного, он несправедлив к тому, что лежит позади его, и знает только одно право — право того, что в данную минуту должно совершиться. Поэтому каждый деятель любит свое деяние в бесконечно большей степени, чем оно этого заслуживает; и лучшие деяния совершаются при таком избытке любви, которого они, во всяком случае, не могут заслуживать, как бы неизмеримо велика ни была вообще их ценность.

Если бы кто получил возможность в целом ряде случаев проникнуть в ту неисторическую атмосферу, в которой возникает каждое великое историческое событие, и подышать ею некоторое время, то такой человек сумел бы, может быть, как познающее существо, возвыситься до *над-исторической* точки зрения, на которую Нибур однажды указал как на возможный ре-

зультат исторических размышлений. «Для одной цели по крайней мере, — говорит он, — пригодна история, ясно и основательно понятая: она показывает, что даже величайшие и гениальнейшие представители нашего человеческого рода не сознают, насколько случайно их глаз принял ту форму, через которую они не только сами смотрят, но и насильственно заставляют смотреть всех других, — насильственно потому, что интенсивность их сознания необыкновенно велика. Кто не знает и не понял этого совершенно определенно и на основании целого ряда случаев, того порабощает явление могучего духа, вкладывающего в данную форму высшее напряжение страсти»<sup>1</sup>. Над-исторической мы могли бы назвать эту точку зрения потому, что тот, кто стоит на ней, мог бы навсегда потерять охоту жить дольше и участвовать в исторической работе, постигнув с полной ясностью важнейшее условие всякой деятельности, именно ту слепоту и ту несправедливость, которые царствуют в душе каждого деятеля; он был бы даже излечен от чрезмерного уважения к истории: ведь он научился бы по поводу каждого человека, по поводу каждого события греческой или турецкой истории времен первого или девятнадцатого столетия давать себе ответ на вопрос, как и для чего мы живем. Тот, кто вздумал бы спросить своих знакомых, желали бы они еще раз пережить последние десять или двадцать лет, мог бы легко подметить, кто из них имеет задатки для той над-исторической точки зрения, о которой мы упоминали выше; правда, что они все ответили бы, вероятно, на этот вопрос: «Нет»,

---

<sup>1</sup> Из письма Нибура к Николовиусу от 15 сентября 1821 г. // *Lebensnachrichten über Barthold Georg Niebuhr*. Bd. 2. Hamburg, 1838. S. 480.

но они указали бы различные основания для этого «нет». Одни, может быть, для своего утешения скажут: «Следующие двадцать будут лучше». Это те, о которых Дэвид Юм насмешливо замечает:

And from the dregs of life hope to receive,  
What the first sprightly running could not give<sup>1</sup>.

Таких людей мы назовем историческими; всякое обращение к прошлому вызывает в них стремление к будущему, распаляет в них стремление к будущему, распаляет в них решимость продолжать жизненную борьбу, воспаляет в них надежду на то, что нужное еще придет, что счастье скрывается за той горой, к которой они направляют свой путь. Эти исторические люди верят, что смысл существования будет все более раскрываться по ходу *процесса* существования, они оглядываются назад только затем, чтобы путем изучения предшествующих стадий процесса понять настоящее и научиться энергичнее желать будущего; они не знают вовсе, насколько неисторически они мыслят и действуют, несмотря на весь свой историзм, и в какой степени их занятия историей являются служением не чистому познанию, но жизни.

Но тот же вопрос, на который мы получили первый ответ, может вызвать иногда и другой ответ. Правда, и он сведется к тому же «нет!», но к иначе обоснованному «нет», а именно — к «нет» над-исторического человека, который видит спасение не в процессе, но для которого мир в каждое отдельное мгновение представляется как бы остановившимся и законченным. Чему, в самом деле, могли бы еще научить новые де-

---

<sup>1</sup> От остатков жизни они надеются получить то, чего не смогло дать первое страстное движение (*англ.*).

сять лет, если это не удалось сделать предыдущим десяти годам!

Заключается ли смысл исторического поучения в счастье или в резиньяции, в добродетели или в покаянии, в этом над-исторические люди никогда не были согласны между собой; но, в противоположность всем историческим точкам зрения на прошлое, все они с полным единодушием приходят к одному выводу: прошлое и настоящее — это одно и то же, именно нечто, при всем видимом разнообразии типически одинаковое и, как постоянное повторение непреходящих типов, представляющее собой неподвижный образ неизменной ценности и вечно одинакового значения. Сотни различных языков соответствуют тем же типически прочным потребностям человека, так что тот, кто понимал бы эти потребности, не смог бы из всех этих языков узнать ничего нового; точно так же над-исторический мыслитель освещает себе изнутри всю историю народов и отдельных личностей, восстанавливая в своем ясновидении первоначальный смысл различных исторических иероглифов и постепенно даже уклоняясь от утомляющего притока все новых и новых письмен: ибо бесконечный избыток развертывающихся перед ним событий не может не вызывать в нем в конце концов чувства сытости, пресыщения и даже отвращения! Поэтому даже самый смелый между ними в конечном счете, может быть, готов сказать своему сердцу вместе с Джакомо Леопарди:

«Порывы твои  
напрасны. Земля недостойна  
и вздоха. Вся жизнь —  
лишь горечь и скука. Трясина — весь мир.  
Отныне наступит покой».

## СОДЕРЖАНИЕ

<b>О ПОЛЬЗЕ И ВРЕДЕ ИСТОРИИ ДЛЯ ЖИЗНИ</b> <i>Перевод Я. Бермана, А. и Е. Герцык .....</i>	<b>5</b>
<b>СТРАННИК И ЕГО ТЕНЬ</b> <i>Перевод А. Заблоцкой .....</i>	<b>123</b>



## **Ницше Ф.**

Н 70 Странник и его тень / Фридрих Ницше ; пер. с нем. Я. Бермана, А. и Е. Герцык, А. Заболоцкой. — СПб. : Азбука, Азбука-Аттикус, 2023. — 320 с. — (Азбука-классика. Non-Fiction).

ISBN 978-5-389-22843-6

Фридрих Ницше (1844–1900) — величайший немецкий мыслитель, творчество которого оставило глубокий след в литературе и философии XX века. «Так говорил Заратустра», «По ту сторону добра и зла», «Падение кумиров», «Воля к власти» — эти и другие произведения закрепили за Ницше скандальную славу человека, ниспровергающего общепризнанные авторитеты. Со свойственной ему парадоксальностью мысли, глубиной психологического анализа, увлекательной и яркой манерой письма, Ницше развенчивает нравственные предрассудки всей европейской культуры. В настоящем издании представлены работы «О пользе и вреде истории для жизни» (1874) и «Странник и его тень» (1879), которые в последующих переизданиях были включены автором в дополнительные тома к книге «Человеческое, слишком человеческое». Свои идеи философ выражает в блестящих афоризмах, в которых, по словам А. Белого, сконцентрирован ряд мыслей, ряд переживаний, облеченных в небрежную форму, в них Ницше, точно мудрец, путешествующий инкогнито, озадачивает наивного попутчика, и тот не знает, имеет ли он дело с безумным, шутком или пророком.

УДК 13  
ББК 87.3

Литературно-художественное издание

ФРИДРИХ НИЦШЕ  
СТРАННИК И ЕГО ТЕНЬ

Ответственный редактор Оксана Сабурова  
Художественный редактор Вадим Пожидаев-мл.  
Технический редактор Валентина Дик  
Компьютерная верстка Михаила Львова  
Корректоры Анастасия Келле-Пелле, Юлия Теплова  
Главный редактор Александр Жикаренцев

Подписано в печать 10.03.2023. Формат издания 76 × 100 <sup>1</sup>/<sub>32</sub>.  
Печать офсетная. Тираж 4000 экз. Усл. печ. л. 14,1.  
Заказ №

Знак информационной продукции  
(Федеральный закон № 436-ФЗ от 29.12.2010 г.):

16+

ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“» —  
обладатель товарного знака АЗБУКА®  
115093, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Даниловский,  
пер. Партийный, д. 1, к. 25

Филиал ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“»  
в Санкт-Петербурге  
191123, г. Санкт-Петербург, Воскресенская наб., д. 12, лит. А

Отпечатано в Акционерном обществе  
«Можайский полиграфический комбинат»  
143200, Россия, г. Можайск, ул. Мира, 93.  
www.oaomprk.ru, тел.: (49638) 20-685



A-NFA-31788-01-R